

## МОЯ СОРОКА

Вот так, мужики... Век прожил со своей сорокой и не знал, что за птица она. Теперь и думай, как быть. Только ведь думай не думай, а жена – не башмак стоптанный, за потшцс\* не кинешь.

Ну ладно, расскажу, как было, а там судите-рядите.

Звать меня, значит, Митипор Паш. Хоть я и прописался давно в городе, а душой его никак не могу принять. Душой я там – в сикте своем вычегодском. Там вся моя родня до десятого, может, колена проживала, дальше своих покосов нос не казала. Город, он, может, и мир, зато деревня – рай. Ну, а у меня так вот вышло: выучился на электросварщика, при- тормозил в городе. Ненадолго, вроде. А потом – бах! – женился. Не успел обернуться, уж детишки пошли. Там и квартирой обзавелся. Прямо сказать, засосал город.

Жизнь человечья, она ведь не проходит, она вприпрыжку пробегает. Глядь-поглядь, а детки-то мои выросли. Их у нас трое, сыновья с дочкой. Туда-сюда, уж они отдельно живут, внуков растят. Стало быть, мы с сорокой сделались дедом и бабкой. Ну, что, – говорю, – бабка?.. – «Какая я тебе бабка!» – Серчает сорока моя, во как!

Я к чему веду: сорока-то моя испортилась. Да уж так испортилась, что и ума не приложу, как быть мне теперь, что делать.

Последние семь лет я в Горводоканале сварщиком работаю. И случился юбилей нашей конторе, как-никак семьдесят лет ей стукнуло. Начальство решило отпраздновать это событие в театре, пригласительные билеты всем нам раздали. Сперва, сказали, концерт будет, потом вечеринка. «Сходим, что ли?» – у сороки своей спрашиваю. Та с радостью. Мне-то этот юбилей, по правде сказать, как шел, так и ехал, потому смешно было смотреть, как жена к театру стала готовиться. Пришла из парикмахерской – батюшки! Сразу и не признал сороку свою. На голове у нее локоны-коконы, брови начертила, ресницы начернила, коготки лаком покрыла, еще и надушили ее там. Ладно бы только это, но ведь она от какой-то подруги платье блестящее притащила. Как она на себя эту чешую рыбку надела, да как перед зеркалом встала, я и вовсе рот растворил. Спина-то, прости Господи, голая!

Ты, говорю, того... спину бы прикрыла чем-нибудь – простудишь. А она на меня от зеркала ресницами этак повела, говорит: «Не для того разрезы делают, чтоб прикрывать».

Оно конечно. В солдатских шинелях тоже разрезы есть, и ничего не простужают.

Что тут делать? Достал свой костюм серый двубортный в синюю полоску, красный галстук на шею повязал. Отправились. Иду и думаю: как бы мне от стыда не сгореть, когда сорока моя шубу снимет да принародно спину оголит.

А ничего, проморгался. Главное дело, народ не то что не ахнул, а вроде даже с одобрением спину эту принял, особенно мужики. Отсидели концерт в честь юбилея, позвали всех в зал. В одной половине столы с угощением, в другой – место для танцев.

---

\*Потшцс – изгородь (коми).

Как музыка заиграла, так у сороки моей бесята в глазах запрыгали. Меня как и нет рядом. Стоит, вся блестящая, и пританцовывает. Додергалась: какой-то дылда на танец ее пригласил. Тут и пошло-поехало! Уж как она танцевала, как порхала, я это описать не берусь, потому как слов таких при себе не имею. Один танец да второй, да снова, да еще. Жеребцы наши как сбесились, прям наперебой в круг ее таскают. Вроде, и моя это сорока, и не моя. Глядел я, глядел, как она по рукам ходит, как отплясывает да взвизгивает, когда наши шалопуты ее вертят, и от всего этого стало меня корежить. Вот не совру, мужики, как всё равно душу из меня клещами тянут. Поймал было за руку жену свою, чтоб увести подобра-поздорову, а она хлоп на меня ресницами: я, говорит, не для того сюда пришла, чтоб сразу уходить! И снова в круг. Плюнул я, пошел покурить, нервишки поунять. С одними мужиками покурил, с другими – чую, скоро из ушей дым пойдет. Пошел на сороку свою глянуть. Да лучше бы не заходил. Там все наши большой круг устроили, в ладоши хлопают, рук не жалеют. А в круге-то сорока моя отплясывает, платочком помахивает! А вокруг нее-то слесарь наш Орятков выкобенивается! То он вприсядку, то по пяткам себя хлопает, павлином похаживает перед сорокой моей. А та до того разошлась, что про меня и думать забыла. Вот же ерамакань!\*

Вышел на свежий воздух. А на морозе долго не выстоишь, пришлось вернуться. В зале круга уже нет, а сорока моя с тем же Орятковым в медленном танце топчется. Он ее, срамник, облапил, а сорока даже глаза прикрыла.

Загнул я про себя трехэтажным с надстройкой, оделся и потопал домой. Пусть хоть со всем водоканалом обнимается, мне теперь все равно.

Через два часа моя явилась. Распаленная, разруганная, видно, ни одного танца не пропустила. Что ж ты, говорит, бросил меня? Того, говорю, и бросил, что ты на мужиков набросилась. Губы надула: ни на кого, говорит, не набросилась, просто я танцевать люблю.

Ну, еще что положено сказали друг другу, и после этого я теперь сплю рядом с телевизором. Да и спать-то теперь толком не могу, всё думаю. Вот ведь как получается: столько лет бок о бок прожили, а я и не знал, что сорока моя так легко может голову потерять. Но главное, делать-то что теперь мне? Тут ведь или-или: либо я ухожу от сороки своей, либо танцевать учусь, чтоб всякие Оряковы душу из меня не тянули. Как думаете, мужики?

## НАД ОБРЫВОМ ПЛАКАЛА ГАРМОНЬ

На миг приостановившись у калитки, Зина медленно открыла её, вошла во двор. До сих пор томила девушку вчерашняя обида на Прасковью Николаевну.

Нехорошо было вчера у Зины на душе, тоскливо, и попросила она у своей квартирной хозяйки старую гармонь, стоявшую на комод. Отец ещё в детстве научил её играть. Но Прасковья Николаевна как-то странно посмотрела на девушку и ничего не ответила. Повторять просьбу Зина постеснялась, да и обидно ей стало: старую гармошку пожалела хозяйка. Весь вечер после этого они не проронили ни слова. Даже взгляда друг на друга не бросили.

---

\*Ерамакань – проклятая кукла (коми).

В городе Зина уже месяц – провалила экзамены в медучилище, а домой в родное село возвращаться духу не хватило. Вот и осталась, нанялась санитаркой в больницу. И квартира нашлась сразу – большие подсказали. Живёт, мол, старенькая, в одиночестве, пустит на постой непременно. Тем более, такую-то помощницу.

И правда, Прасковья Николаевна приняла Зину с радостью. Даже за квартиру ничего брать с постоялицы не захотела: «Холодной зимой воду да дрова в дом занесёшь, в магазин, если что, сбегашь, на том и спасибо». А Зине чего ещё желать – мимолётом такую-то работу исполнит. Да и разговорчивая старушка оказалась, значит, скучно не будет. Одним словом, к хорошему человеку пристроилась она. Только вот вчерашнее размолвное молчание лёгкой царапинкой легло на душу. Непонятно, что дальше-то. Ну, да ладно, Зина на эту гармонь даже смотреть больше не будет.

Как только она вошла, в нос ей ударил с детства памятный запах хмеля. И вправду, хозяйка сидела у стола и обрывала желтоватые шишки, бросала их в корзинку. Как сладко сжалось сердечко в груди, словно перенеслась девушка в давнее время, в котором у отца тоже упруго вьётся хмель, сейчас, наверно, так же там пахнет. До головокружения. Давно уже дома она не была. Хмелевым охвостьем Зине однажды едва от отца не досталось. Разве забудешь? В первом классе она тогда училась, дни стояли погожие – не усидишь у порога. Ну и, ясное дело, обдирать хмелевые шишки ей совсем не хотелось. Ах, как отец замахнулся тогда гибкой этой плетью! Не хлестнул, но всё же... А теперь вот таким родным на неё повяло, будто дома рядышком с отцом сидит Зина и обрывает липкие шишки, бросает в корзинку.

– Зинук, покушай, я картошку поджарила, – ласково пригласила Прасковья Николаевна как ни в чём не бывало. И Зина сделала вид, что и в самом деле ничего не было.

Поев, она села помогать хозяйке, и вдыхала, вдыхала сладковатый, чуть пьянящий аромат.

– Вижу, знаком тебе этот фрукт, – заметила Прасковья Николаевна. – А я вот уже сорок лет с ним воюю. Раньше за ним всё муж приглядывал, я только пиво два раза в год варила. А теперь вот – сама. В память о муже не бросаю. Да ведь убегает он всё время.

– Как убегает?

– А вот так. Каждый год вырастает севернее. Я его уже три раза пересаживала. Выкапаю корешки – и на прежнее место. А он опять убегает.

Они замолчали, думая каждый о своём. И тут не выдержала Прасковья Николаевна, посмотрела на девушку пристально:

– Зина, ты вчера на меня, верно, обиделась? Ты, милая, не обижайся. Растерялась я. Уж больно неожиданно ты к этой гармонии-то. Ты бери её, когда захочется, играй, если умеешь, – хозяйка тяжело вздохнула и низко наклонилась над хмелевыми плетями. – Сколько лет уже миновало со дня смерти Егора... С тех пор ведь только я к ней и прикасаюсь. Когда пыль стираю. Эх, утекает времечко, не остановишь, в кадушку не соберёшь! Говорят, каков человек, такова и слава. Знаешь, Гудэк-Егором мужа моего звали, а меня – женой Гудэк-Егора, – Прасковья Николаевна повернула голову к Зине, грустная улыбка тронула губы старой женщины. – Такой же молодущкой, как ты сейчас, замуж за слепого вышла. И не испугалась ведь...

– За слепого? – удивилась Зина, и сердце её отчего-то сжалось.

– Когда поженились, он ещё видел немного, а потом совсем ослеп. В войну питание, сама знаешь, какое было.

Мы с ним соседями были. Там, через дорогу, наш дом стоял, давно уже снесли его. А здесь Егор с матерью жили. Из какого-то лесного посёлка сюда переехали. Отец его на лесоповале погиб, а мать дом да корову продала – и в город. Надеялась, что городские врачи зрение сыну спасут. К тому же работа ему тут подвернулась: слепые тогда верёвку сучили в артели. И гармонист он был хороший.

Помню, по весне каждый вечер выходил на крыльцо с этой вот гармонью. Сядет на верхнюю ступеньку, меха развернёт и играет на всю округу. А я тайком на своё крыльцо выйду, сяду так, чтобы не видно было, и слушаю. Вот какие у нас свидания были по первости: он на своём крыльце, а я на своём. И так его гармонные переборы в душу мне западали... Эх...

Зина быстро посмотрела на Прасковью Николаевну, и снова что-то сжалось у неё в груди: морщинистое лицо хозяйки порозовело, словно внутренним светом осветилось, к губам будто улыбка просилась, обрывала она, не глядя, шишки хмеля, и летели они мимо корзины, раскатываясь по полу. Где она сейчас, Прасковья Николаевна? В молодости своей? Далеко же залетела. Вернётся ли?

– Всё на земле приходит в своё время, в свой срок. И любовь тоже, – продолжила Прасковья Николаевна. – Да, любовь... Однажды, лето уже к осени качнулось, и Егор, как всегда, поиграв на гармонии, не в дом вернулся, а перешёл улицу. Хоть и видел плохо, но заметил свою ежевечернюю слушательницу. Встал у калитки, молчит. И словно прохладным ветерком меня всю обняло, но как-то нежно, осторожно: что уж он скажет? Бьётся сердечко, предчувствует, что случится сейчас что-то удивительно красивое. Смотрю неотрывно на него, а Егор, словно на самую ласковую пуговку своей гармонии нажал:

– Подойди, Паша. Или боишься меня?

Спустилась я по ступенькам, встала напротив, глаза в глаза. А глаза у него большие, тёмно-синие, и ноздри чуть подрагивают. Взял он мои руки в свои и говорит:

– Выходи за меня замуж, Прасковья Николаевна.

Так и назвал, по имени-отчеству. Уважительно.

А я, дурёха, хоть и ждала эти слова всем сердцем, выдернула вдруг руки свои и побегала домой. Сбежала, понимаешь, сбежала... В коридоре оглянулась в окошко: что он там делать будет после этого моего бегства? Как поступит?

А Егор только растянул меха во всю ширь да и побрёл к Сыsole-реке. Отчаянно пела его гармонь. Точно прощаясь. И ушёл ведь.

Ночь уже была. Тишина. А у меня в ушах, словно эхо гармонных басов, его слова звучат, лицо горит, все жилочки дрожат. В дом зайти не смею – вдруг заметят. А кто заметит-то – все спят давно.

До утра я бессонно сама с собой спорила: статный парень Егор и красивый, но ведь слепой же. Слепой! Работящий он, Егор, и не заносчивый, но ведь на десять лет меня старше. Как родителям скажешь? До следующего вечера маялась, ждала, когда гармонь снова заиграет. А она не заиграла. Понимаешь, не заиграла. Не по себе мне стало, словно опустело всё вокруг без

гармони. Не выходит Егор на крыльцо, и я у окна стою, жду. Смотрю, вышел, наконец. Но не сел на свою ступеньку, не заиграл, а глянул на наше окно и опять – к реке. Как вчера.

А я себе места не нахожу. Вот как он в моё сердечко-то проник.

Перестал Егор на гармони играть, и я как безумная стала, всей душой и телом будто у дома напротив стою, у самого крыльца. Егор же опять мимо меня к реке идёт. И музыку свою с собой уносит. Даже домашние заметили мою маяту.

В общем, два вечера я терпела свои мучения, а на третий пошла за ним.

\* \* \*

Тихий тёмный вечер. Сысола еле слышно плещется у подножия крутого обрыва, несёт свои мутноватые воды в чистую Эжву, попутно собирая живую дань с множества мелких речек, речушек и лесных ручьёв, чтобы, соединившись с Северной Двиной, влиться в Белое море.

И ты, река Сысола, наверно, заметила одинокого человека, который третий вечер приходит к тебе, долго сидит над обрывом и чутко слушает твои всплески, не таит печаль свою. Взяла бы ты, Сысола, эту печаль, да и унесла с собой в далёкое северное море. Но тебе нет никакого дела до одинокого человека. Торопись, спешишь встретиться со своими сёстрами и обняться с ними волнами.

Егор сидит на крутом сысольском берегу с тяжёлым сердцем и осуждает, прямо-таки ругает себя: «Ишь, посватался. Дурак! Истинный дурак. А она... Красивая, молодая. Сбежала. Конечно, сбежит от такого! И как слова-то эти вырвались! Жди, выйдет она за слепого. С каждым годом всё хуже ведь вижу. Скоро конец – вечная темнота. На всю жизнь. И врачи бессильны. А я свою горькую беду – да на эту хрупкую девочку! Со своего плеча – на её плечи. Эх, мужик! Да разве можно мне о семье-то думать? Скоро без поводья и ходить-то не смогу...» Корит себя Егор, но где-то в глубине души прячется и не хочет гаснуть крохотная искорка, которая надеется обернуться великим счастливым костром. Вперекор тягостным размышлениям Егора, она просит, требует своё, мечтает превратиться в большую любовь, стремится соединиться с другой такой же искоркой, чтобы засиять на весь мир.

\* \* \*

– Спускаюсь я по тропке к реке, – Прасковья Николаевна уже в который раз грустно и радостно переживала далёкие юные события своей жизни, – а сердце в груди так и бьётся, так и трепещет. Вижу, неподвижно сидит Егор на высоком обрыве. Вздрыгнул, вскочил, шагнул мне навстречу – услышал, значит, шаги мои. Я и кинулась ему на грудь и разрыдалась в голос. И объяснить себе не могу, отчего. И донине не знаю, чего во мне тогда больше было – жалости или любви.

Прижал он меня к себе, молча гладит по волосам, нежно, осторожно. И стало мне сразу так хорошо, спокойно.

Долго мы так стояли. Потом он расстелил на траве пиджак, усадил меня рядом с собой и развернул свою гармонию:

На высоком холме, на берёзе могучей

Поёт над моей головой соловей.

– О ком ты, соловушка, друг ты мой лучший?

О счастье каком?

– О любимой твоей.

До утра просидели мы рядышком. Ясную зорьку встретили, с солнышком поздравлялись.

А потом идём в обнимку по улице, а мама моя уже проснулась, корову на пастбище гонит. Увидела нас, остановилась. У меня сердце сжалось: что скажет? И не стала ждать слов материнских. «Мамочка, – говорю, – я за Егора замуж выхожу». Мама ничего не сказала в ответ, удержала обидные слова, готовые с языка сорваться, только уколола взглядом мать Егора, которая как раз к калитке вышла. Так-то они, соседки, ладили...

А как зашли мы в дом, накинулась на меня мама:

– Что, не нашла никого лучше? Не нашла? Такая ладная, статная, за слепого торопишься!

И сестра, ей тогда лет двенадцать было, губы выпятила, маме вторит:

– Я бы за слепого ни за что! Я только за начальника выйду...

Вот так-то... Из одного мы с ней гнёздышка, а какие разные. Она и в самом деле потом за начальника замуж вышла – за начальника почты Пистиа Костю. Только и она счастья не успела испить – погиб её муж на войне, одна сына вырастила.

Отец, слушая нас, молчал, а я на своём стояла: выйду за него и всё! Хотя что говорите, хоть что со мной делайте. Упёрлась, понимаешь? А ведь до этого слова поперёк родителям не вымолвила – так боялась. словно телёнок, ни разу из хлева на свет не выходивший. И откуда что взялось в такой синичке! И вдруг отец на мою сторону встал. Ну и что, говорит, слепой, а работает не хуже других, и ветер у него в голове не свищет. Когда голова на месте, на шерсть не глядят.

– Ну и отдавай дочь за калеку! – словно по щеке хлестнула его мама.

А мне так обидно стало за Егора. Уколола её:

– Ты сама слепая – за обличем человека не видишь... Да, молодость... – Прасковья Николаевна вздохнула, поправила на голове платок. – Как весенний лёд на реке не удержишь, так и девушку на выданье. В общем, вечером сваты пожаловали – Егорушка с матерью своей. Отец им: как сама невеста скажет, так и быть посему. Я, конечно, сразу согласилась. И мама смирилась, хоть и расплакалась.

Расписались мы, большую, шумную свадьбу сыграли. Вся родня собралась за столом. Егор, нарядный, в белой рубашке, на гармони играл, мать его старинные свадебные песни пела... Вот так и прижилась я в этом доме полвека тому назад. И знаешь, в добре и счастье жили мы с Егорушкой. Хоть и недолго. Жизнь прошла, как тихая река под крутым обрывом.

Прасковья Николаевна вдруг замолчала, словно спохватилась, вспомнив о работе, заторопились её пальцы, заперсебировали хмелевые шишки.

– А дальше? – Зине ужасно захотелось узнать, как всё сладилось у молодых, будто чувствовала она, что разговорчивая хозяйка не рассказала ей чего-то очень важного, главного.

– А что – дальше? Я устроилась санитаркой в больницу. Как ты. Придём с работы, все домашние дела быстренько сделаем, и сидим, муж с женой, друг напротив друга, поём любимые песни. А что делать, если детишек Бог не дал? Не выпало нам такого счастья. Так и прожили бы свой век тихо-мирно, ежели б не война. Не всё, говорят, веселье – под горку катиться, и в гору взбираться приходится.

Началась война, и моего Егорушку словно подменили. Ляжет навзничь на кровать, слова не проронит. Он ведь большой был, сильный. А слепой. Только свет в окне да тень человека на этом свете мог разглядеть. Я к нему и так, и эдак, отвлекаю от тяжёлых мыслей. А он молчит. А тут ещё сестра моя, будто на раскалённую каменку холодной водой плеснула. Спустя месяц после начала войны её мужу повестку принесли. Сестра пришла к нам, присела на скамью у окна, говорит:

– Приходите вечером – Костю проводить. – И вдруг словно чёрт её за язык дёрнул да вывернул. – А ты, Прасковья, знала, за кого замуж выйти. У всех баб мужиков на войну забирают, а ты миловаться-красоваться будешь! – Я ей машу: молчи, Егор в соседней комнате, а она будто не понимает. – Люди кровь проливают, а вы, как кот и кошечка, на печи сидеть будете да мурлыкать под гармони. И ни ребёночка, ни овечки.

Не стерпела я, говорю:

– Милая сестра, выйди-ка из нашего дома. Мы, конечно, сегодня вечером к вам придём, но не к тебе, а к Косте. Но потом не жди, нога наша через ваш порог не переступит.

С детства у неё язык был острее бритвы, но тут и я не смямила.

Константина проводили до парохода, как полагается. А на следующий день пришла я с работы – Егора нигде нет. Кричу – не отзывается. Соседи сказали: к реке твой пошёл. Похолодело в сердце моём – так я испугалась. Уж не топиться ли вздумал, ведь так испереживался, сам не свой ходит.

Полетела на берег – нет его. А выше по течению, в речной излучине, пароход у пристани стоит и на берегу народ толпится – на фронт отцов и сыновей провожают. Подошла, глазами шарю, мужа высматриваю. Может, думаю, где-то в толпе. И увидела, наконец. Стоит мой Егор над обрывом и на гармони играет, «Русскую» наяривает. И несколько новобранцев рядом с ним пляшут неистово. Едва удержали меня ослабевшие ноги: жив!

Подошла к нему, встала сзади, слушаю, смотрю кругом. За месяц проводов трава вся выбита сапогами до проплешин, пожелтела. Топчутся новобранцы, родня их, детишки в ногах путаются. Кого старая мать провожает, кого невеста. Люди все из дальних деревень. У кого родственников нет, жмутся к гармонии. Тогда ведь, знаешь, железной дороги здесь не было – на пароходе до Котласа плыть приходилось.

Егорушка «Шондібан» сыграл, «Мича нывъяс». Душевно у него получалось, ласково и певуче, никогда я больше не слышала, чтобы так кто-нибудь ещё играл. А когда гуднул па-

роход и все прощаться стали, каждый подошёл к Егору, руку ему пожал: «Спасибо, земляк, повеселил напоследок, может, не придётся уже на родной Коми земле сплясать».

А Егор говорит каждому:

– Неправда это, неправда! Вот прогоните проклятых фашистов, снова здесь, у пристани, встретимся.

И лицо у него будто застыло, закаменело, когда он «Священную войну» заиграл. Верно, по радио услышал песню эту страшную, подобрал на гармони своей. Ты знаешь, крики, плач по всему берегу, а тут призамолкли все, притихли, такая это была песня. Гудит, отваливая от пристани, пароход, а Егор всё играет и играет. Грустной стала гармонь, кажется, вот-вот заплачет, да уже и плачет действительно, потому что знает: не все сыновья Коми земли вернуться обратно.

Каждый день начал ходить Егор на берег Сысолы, провожать пароходы. Вымотается на работе на военных нормах и всё равно идёт с гармонью на пристань. А я не отговариваю, пусть провожает людей в трудный путь. Может, и его душа умиротворится. На войну его так и так не возьмут. А тут будто при службе он.

\* \* \*

Сегодня у Егора торжество, именины, праздник. Он шагает по знакомой улице после трудного рабочего дня, палкой перед собой постукивает – не изменилось ли чего с утра. И нипочём ему дождь со снегом, который сечёт его по счастливо улыбающемуся лицу и пытается сбить с привычной походки. Всем телом, всем существом своим ощущает он себя человеком. Да-да, человеком, а не инвалидом.

До войны Егор как-то особо не задумывался об этом. Жил, как все, работал. А вот пришла война, и мерзкой букашкой засвербила в душе тоска – он ненужный человек. Именно, ненужный. Немного отпустила тоска эта, когда пароходы провожал, но и тогда не чувствовал он себя необходимым. Стыдно было пожимать руки уходившим на войну. Ни в чём не виноват, а стыдно. Они вон – и безусые, и немолодые уже, пожившие – идут и идут, а он – только провожающий с гармонью. Мог бы, тоже не задержался бы, и провожали бы его другие.

И лишь сегодня истлела в груди тоска.

Месяц назад начали в их артели шить и вязать рукавицы для снайперов. Это такие, у которых большой и указательный пальцы отдельно, чтобы стрелять было сподручно. Егор рассчитывал, что его цеху тоже поручат эту работу, но их оставили сучить верёвки.

Прошло недели две, и Егор подошёл к бригадиру:

– Пал Петрович, я тоже хочу шить снайперские. Они же сейчас на фронте нужнее верёвок.

– Слушай, Егор, ты думаешь, это так просто? – сходу осадил его бригадир. – Тебе два месяца придётся учиться. А у нас времени на это нет. На рукавицы бросили тех, кто уже раньше их шил. А ты свою работу делай по мере сил и возможностей. Она тоже нужная.

– Знаю, что нужная, – заупрямился Егор. – Но я хочу шить рукавицы.



Павел Петрович удивлённо посмотрел на возбуждённого Егора. Таким он своего подчинённого ещё не видел.

– Слушай, дорогой мой, я всё понимаю, но... – бригадир заколебался и вдруг согласился. – А... Давай. Хочешь шить – учись. Но только после работы. Норму выполнишь – и я не возражаю. Но норму выполнять – обязательно. Время военное.

И замелькали трудные для Егора дни. Накрутив верёвочную норму, он спешил в швейный цех и допоздна упрямо приучал руки к новой работе. Долго не получалось у него ничего. Не зря ведь говорится, что первое полотно непременно с узлами, а первый выстрел – чёрная ворона. И вот, наконец, сегодня Егор сдал на склад готовой продукции хорошо сшитую пару настоящих снайперских рукавиц. Завтра его изделие отправят на фронт, и лучший во всей Красной армии снайпер, не снимая на морозе рукавиц, нажмёт на спусковой крючок меткой винтовки. И пусть дождь со снегом хлещет в лицо. Пусть. У Егора праздник.

Вернувшись домой, Егор не сразу заметил печальное молчание жены. Улыбнулась, конечно, похвалила за успехи, но сдержанно как-то.

– Ты чего, Паша? – уловил её настроение Егор.

– Сестра приходила, – осторожно проговорила Прасковья.

– Ну...

– Сынок у неё совсем ослаб. Ты же знаешь, застудился он. Никак не поправится. Ничего, говорит, не ест, да особо-то и есть нечего.

И тут же погас для Егора праздник. Война проклятая. Какие уж тут праздники? Его маленькая победа рядом с горем, которое пировало повсюду, принося болезни детям и похоронки соседям, показалась ему ничтожной капелькой в людском море. Егор прошёл в горницу, вытащил из сундука новый чёрный костюм, который они успели справиться до войны и который он любил надевать, когда играл на гармонии, достал голубую с полосками шёлковую рубаху, вынес Прасковье.

– На вот это, да ещё кой-чего подсобери... Походи в выходной по окрестным сёлам. Может, удастся выменять на сало и картошку. Надо мальчонку на ноги ставить.

Прасковья молча взяла вещи, и так ей легко стало на душе. Значит, не держит он зла на её сестру.

\* \* \*

– А к концу войны Егор и сам занемог. День и ночь кашлял, кровью сплёвывать начал. Он ведь у меня крупный, рослый был мужик, на карточки не наедался. – Прасковья Николаевна замолчала, словно застыла вся, а потом, вздохнула, продолжила. – Я вон тут, в парке, распала большой участок под картошку. Тогда весь парк в грядках был. Воровали, конечно, подкапывали. Но ничего... И копала, и окучивала, и полола. На мне весь огород был. Прибегу из больницы, уработаюсь – а дома тоже работы невпроворот. Когда картошку копали – мне самая трудная должность доставалась. При лопате. Сила-то у Егора была, да что толку: не видит, где копать надо. Он на ощупь картошку собирал, понимаешь. А я прямо с ног валилась в такие дни.

Помню, вернулась в дом с грядки и едва до кровати добралась, прилегла. Не смогла даже ужин мужу приготовить. Лежу, словно в забытьё впала. Глаза открываю, а Егорушка сидит рядом со мной, взял своими огромными ручищами мои руки, красные, в гусиной коже от постоянной работы в воде и на холоде, шершавые, с потрескавшимися ладонями, и дует – греет. Так-то он не очень ласковый был, а тут нагнулся и каждый палец поцеловал. Вся кровь у меня к лицу прихлынула. Вот, думаю, какой он, оказывается: руки целует, а руки-то все в трещинках, загрубевшие от работы, некрасивые. И вдруг точно обожгло меня: он же не видит, какие у меня руки. Дурочкой была, не понимала, что ему и не нужно было их видеть.

Пришла весна, а с нею и Победа. Как радовались все! А Егорушке работы прибавилось. Стал опять с гармонью на пристань ходить, но уже не провожать пароходы – встречать. Каждый день ходил, будто братья и сестры с фронта возвращались. Вечером, часам к девяти, пароходы прибывали, гудками всю округу на ноги поднимали. Егор надевал чистую рубаху – и к реке. До самой осени ходил на берег. Я отговаривала его:

– Хватит уже, простынешь совсем. Вот-вот снег пойдёт.

А он спокойно так:

– До закрытия навигации поиграю.

Иногда пароходы опаздывали, так он садился к порогу, ждал, иной раз даже соснёт на минутку. По гудкам узнавал пароходы-то. Вот «Бородино», а это «Некрасов»... До пристани от нас – два шага через парк.

Мёрз он, конечно, там, на осеннем ветру, совсем расхворался, а ещё следующей весной сильно простудился. С тех пор кашлять не переставал, кровью харкал. К осени лицо потемнело, знаешь, как репа пареная, похудел весь – только нос торчит.

– Егорушка, – говорю ему, – сходил бы ты к врачу.

– Сходим, сходим, – отвечает, – сейчас только последний пароход встречу... А то уложат в больницу, где гармониста найдут.

Этот последний в воскресенье пришёл. Ночью уже сильно подморозило, утро выдалось солнечным. Но к вечеру небо тучами затянуло, дождь накрапывать начал. Егора бил озноб, целый день у печки в фуфайке просидел, а вечером снова засобирился на пристань.

– Егорушка, не ходи. Болеешь ведь.

– Что уж, Паша, последний ведь пароход. Надо встретить обязательно.

– Тогда и я с тобой.

Ветер нёс по берегу дождь со снегом, пассажиры выходили из сияющего огнями парохода в неласковую осеннюю темень. А Егор, спрятавшись от дождя под соснами, стоит на взгорке около пристани играет «Синий платочек». Первые пассажиры уже разошлись, а после всех по трапу спустился солдат на костылях: правой ноги у него нет, шинель не застёгнута, на груди ордена и медали звенят. Поднялся на голос гармонии, встал перед Егором, сидор с плеча стянул и говорит:

– Ну, здорово, друг! Живой?! Дай пожму тебе руку! Большое тебе спасибо, друг! И за игру спасибо! Ты не помнишь, конечно, а ведь под твою гармонию уходил я на фронт, под неё и вернулся. Вернулся! Если б не гармонию эта... Эх! Я ведь закрою глаза в землянке, начну края родные

вспоминать, и тебя вспоминаю. Берег сысольский, эти берёзы, тополя... И ты на гармонии играешь. «Священную войну». А потом, в госпитале сколько раз чуть не плакал, губы кусал: кому я нужен такой? Я ведь охотником был не последним, а как теперь по лесу-то? Без ноги не побегаешь. И опять перед глазами ты со своей гармонью, будто зовёшь домой. Да, зовёшь... Глядишь, и терпеть можно жизнь такую. Так что спасибо, солдатское спасибо тебе и поклон до земли!

Егор отдал мне гармонь, протянул руку солдату, хлопает его по плечу, а я смотрю на него и не узнаю. В отсветах паровозных огней исхудавшее лицо, плотно сжатые губы, часто моргающие веки – не поймёшь, слёзы текут по щекам или холодные капли дождя...

Зимой умер Егор. Видать, слишком поздно к врачам мы пошли.

После похорон будто солнце моё погасло. Как выдержало сердце, не разорвалось от горя. Так и жила, словно в сумерках. Работа, конечно, не давала забыть, отвлекала от беды моей. Но, хоть и прошло уже с той поры сорок с лишним лет, а плач и радость этой вот гармонии стоит в ушах доньне. Никто ведь после Егорушки не играл на ней...

Прасковья Николаевна умолкла. И Зина не посмела нарушить её молчание, ей показалось, что она только что вернулась из дальней дали, из другого времени, где своими глазами видела слепого гармониста и его молодую жену, которые стали ей отчего-то такими близкими, такими родными. И будто слышала Зина печальную гармонь, плачущую по солдатам, погибшим на войне...

А хозяйка вдруг запела:

У ручья, у быстрого ручья  
Спеть заре хотела песню я,  
Но сорвался звонкий голос мой,  
Радость мхом позаросла зимой.  
Ручеёк, чтобы заглох в ночах,  
Перекрыли – ручеёк зачах.  
Так что ты, кукушка, мне не ври –  
Друг мой превратился в луч зари...